

INSPIRIA

И Маркс

МОЛЧАЛ

у Дарвина

В саду

Илона
ЙЕРГЕР



INSPIRIA

Loft. Известная персона

Илона Йергер

И Маркс молчал у Дарвина в саду

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Йергер И.

И Маркс молчал у Дарвина в саду / И. Йергер — «Эксмо»,
2017 — (Loft. Известная персона)

ISBN 978-5-04-196713-0

«И Маркс молчал у Дарвина в саду» можно поставить в один ряд с работами Флориана Иллиеса — «1913. Лето целого века», «Любовь в эпоху ненависти». Эта книга про взаимосвязь человека, культуры и эпохи, про двух гениев, навсегда изменивших жизнь человечества. Наполненный историческими, научными и социальными фактами роман раскрывает жизнь Маркса и Дарвина с новой точки зрения. Читатель познакомится не только с их философией и открытиями, но узнает их как людей со своими слабостями и недостатками. Англия, 1881 год. Чарльз Дарвин и Карл Маркс живут всего в нескольких милях друг от друга. Оба навсегда изменили мир своими работами: один об эволюции, другой о революции. Они оба это знают и гордятся этим. И все же они страдают бессонницей и меланхоличны. Однажды вечером они впервые встречаются за ужином. Их дискуссия быстро переходит к Богу и справедливости, неизбежно вспыхивает ссора, и вечер заканчивается скандалом. Но была ли эта встреча на самом деле?

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-04-196713-0

© Йергер И., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Кара для еретика	6
Дождевой червь	8
Эмма и голуби	14
Немецкий пациент	20
Врач без Бога	26
Плачущая лошадь	31
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Илона Йергер

И Маркс молчал у Дарвина в саду

Ilona Jerger

UND MARX STAND STILL IN DARWINS GARTEN

© by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.

Published in 2017 by Ullstein Verlag

Перевод с немецкого Екатерины Шукшиной

В оформлении переплета используется работа фотографа Полины Набоки – на фото художник Петр Аксенов

© Шукшина Е., перевод на русский язык, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *



Марианне

Кара для еретика

Чарльз как раз размышлял о том, что испытывает лесная завирушка, совокупляясь более сотни раз в день, каждый – на десятую долю секунды, когда заметил на заборе троих человек. Вопрос не отпускал его, поскольку он ничуть не сомневался: животные умеют чувствовать. Но как это доказать? Когда он сопоставил еще не описанные замеры и предварительные записи со своим возрастом, его бросило в пот. Не говоря уже о незаконченных наблюдениях за повадками слепых жуков в брачный период.

Но теперь вдруг навалилась другая тревога: приходилось смотреть, как совершенно незнакомые люди перелезают через его забор. Что это значит, черт подери?

Пока трое помогали друг другу отцепить от забора брюки и сюртуки, Чарльз попытался отереть капли пота и удивился: рука осталась сухой, хотя влажность на лбу ощущалась отчетливо. Он смутился и объяснил непонятное явление рассеянностью. После успешного преодоления преграды трое отряхивали одежду, а он лежал на шезлонге в кабинете, и ему было жарко и холодно одновременно.

Чарльз нашарил кашемировый плед, попытался подтянуть его к подбородку, но запутался и чем больше сучил ногами, тем больше плед его сковывал. Гадость какая.

Это были двое мужчин и одна женщина. Смотря в землю и сильно наклонившись, чтобы не сказать скрючившись, они двинулись по песчаной дорожке. Вид мрачный. Что, конечно, могло объясняться черными сюртуками и такими же головными уборами.

Пришельцы остановились у орешника и заговорили между собой. Чарльз видел, как женщина перекрестилась, а менее высокий мужчина в воскресном костюме, коренастый крестьянин с короткой шеей, указал на дуб. Потом, уже значительно быстрее, они направились к дому. Оцепеневший Чарльз, дрожа от холода, вспомнил, что сегодня воскресенье и садовника, который мог бы их вразумить, нет. Жена Эмма и дворецкий Джозеф на службе в церкви. Служанки, наверное, тоже. А он совсем один. Разумеется, он не откроет дверь на звук колокольчика, а если Полли – где вообще Полли? – залает своим высоким возбужденным лаем, тогда эти трое (вероятно, ирландские нищие) точно уберутся, в том числе из уважения к зубам фокстерьера.

По пути к дому более высокий и худой мужчина вдруг указал на теплицу, и все тут же развернулось. Чарльз бился с пледом и пытался восстановить дыхание. Что им нужно в его теплице? Это не нищие. Чего доброго, воры.

Потом все происходило очень быстро. Едва зайдя в теплицу, женщина опустилась на колени, перекрестилась, встала и принялась помогать коренастому. Они сбрасывали все горшки на пол: и те, что висели, и те, что стояли на столах.

По каждому сигналу худого нарушители останавливались, опускали головы и, кажется, молились. После чего следовал очередной этап разрушения, они не пощадили ни одного росточка. Чарльз внезапно понял, что дошло уже и до этого: ортодоксальные христиане громят его дом.

Горло пересохло и горело, как после пробежки по чистилищу. Из спазмированных бронхов вырвался хриплый крик о помощи. Сердце стучало молотом; он хотел встать, чтобы спасти хотя бы замоченные в нашатыре бобы, иначе эксперимент, длившийся уже несколько недель, придется начинать с самого начала. Но ноги не слушались.

Чарльз подумал было накрыться пледом с головой, чтобы его не нашли. Где же Полли? Непонятно. Ему не хватало ее до боли. Слезы потекли в бороду. Может, по этому случаю побриться? Вдруг показалась привлекательной мысль явить лицо, обнажить бледную кожу, как раньше в геологических экспедициях он поступал с наслоениями камней и грунтов, определяя их возраст и характеристики. Чарльз почувствовал необходимость посмотреть в зеркало. Но времени не осталось.

Он услышал, как заскрипела дверная ручка и распахнулась дверь. Эти трое никак не могли проникнуть в дом через главный вход. Наверно, кто-то из работников кухни оставил открытой заднюю дверь. Едва зайдя в кабинет Чарльза, женщина упала на колени. Мужчины последовали ее примеру. Устремив взгляд в потолок, они перекрестились семь раз. Затем встали. Женщина и коренастый подошли к письменному столу. Там лежала неразрезанная книга. Коренастый взял ее, схватил нож и начал бешено резать, колоть как попало, пока женщина раздирала на мелкие кусочки всю бумагу, какую только могла найти.

Тем временем худой обнаружил комод с ящиками и велел коренастому заняться делом. Что тот немедля и сделал. Обнаружив стопки аккуратно рассортированных бумаг и догадавшись, что может уничтожить здесь основу богохульной теории, он чуть с ума не сошел от радости.

Вдруг зазвенело стекло. Женщина задела задом полку, и упал заспиртованный зяблик. Испугавшись, она неловко повернулась, отчего зашаталась вся полка. Сначала попадали отдельные банки, затем сразу много. Грохот стоял невероятный.

Возбужденная видом мертвых рыб, зародышей кроликов и голубей, а также десятков препарированных глаз мух и шмелей, женщина начала размахивать руками, пока не упала и вторая полка с чучелами животных. Вдруг разбойница словно надломилась и завывала.

– Memento mori, – произнес худой. И, неотрывно глядя на суп из спирта и трупиков животных, добавил голосом пророка: – Посреди жизни нас окружает смерть.

Пульс у Чарльза стучал в ушах, он слышал капающий с полок спирт.

И тут появились сомнения. А если ему все снится? Коренастый достал из кармана брюк серные спички и, ухмыляясь, зажег одну. Когда вспыхнуло пламя, его лицо заблестело красным, желтым и оранжевым. Чарльз испугался. Ему была знакома эта пылающая рожа.

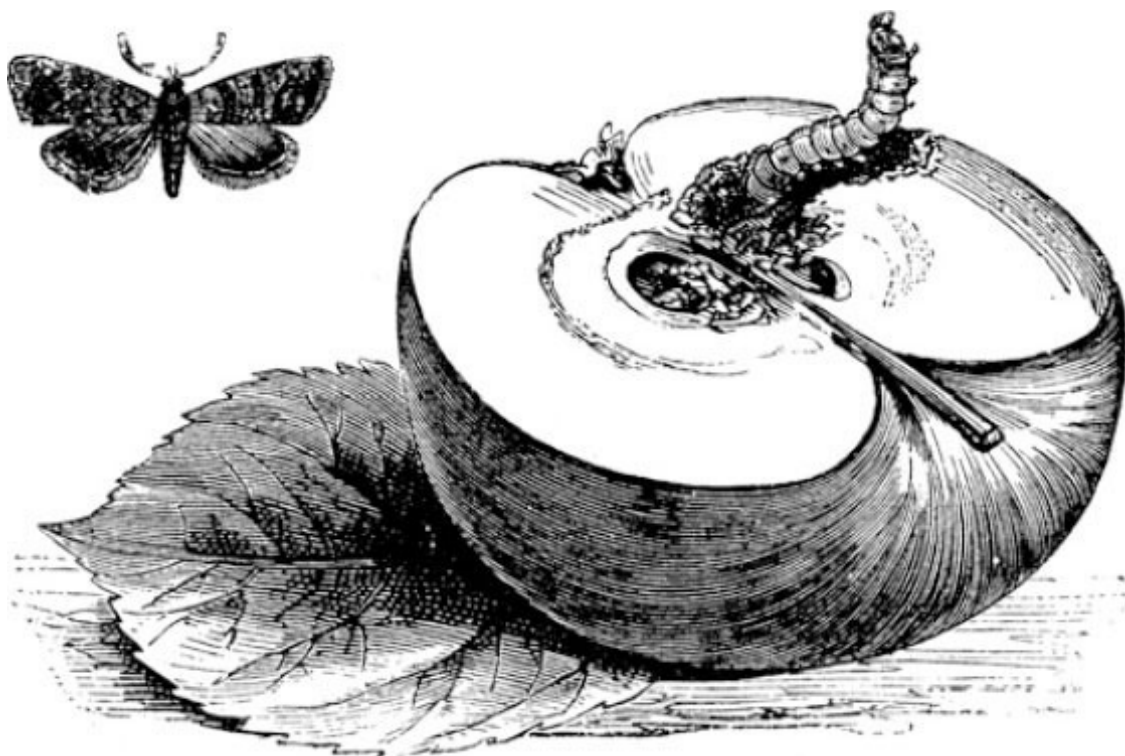
Лежащего на полу зяблика охватил огонь. Станным образом загорелись не перья, а клюв. Огонь вертикально поднимался от кончика. Чарльз решил провести эксперимент и выяснить, по-разному ли горят роговые чехлы у клювов зябликов. Вероятно, придется еще раз отправиться на Галапагосские острова пострелять пичуг.

Спирт на полках, ковре, на клочках бумаги горел, как сухая трава. Хоть бы не занялось первое издание его труда «О происхождении видов». Из-за колющей боли в груди Чарльз не мог спасти книгу и закричал как безумец. Все это время ортодоксы хором ревели: «Виновен! Виновен!» Затем звуки отодвинулись, но эхо стало громче: «Виновен! Виновен!» Загорелся шезлонг, Чарльз дрожал всем телом и чувствовал, как его сковывает смертный холод. Он проснулся.

Взмокший, с колотящимся сердцем и головной болью, он сел. Давно не являлся ему этот кошмар. Бывали времена, когда он преследовал Чарльза регулярно. Дарвин знал каждый этап до последней мелочи и часами потом чувствовал скверный запах спирта и горелого клюва. Дополнительно его раздражало, что уже во время сна он догадывался: все лишь сон.

И всякий раз на границе между сном и пробуждением – дьявольское место, где еще не имеешь власти над своими мыслями, зато тем большую они имеют над тобой – перед глазами стояла фраза: «Справедливая кара для капеллана дьявола».

Дождевой червь



Замерзая, он сидел в кровати, обхватив голову обеими руками и постанывая. Только дождевые черви могли сейчас утолить его боль. Чарльз потянулся за спичками, зажег свечу на ночном столике, посмотрел на карманные часы и в очередной раз горько пожалел, что ради приобретения бильярдного стола продал тогда по дешевке золотые часы своего папá. Он тут же постарался отогнать мысли о поступках в прошлом, которых, по природе вещей, не изменить. Но если мысли получают возможность оказывать пагубное влияние на организм, будет трудно вернуться к более светлому взгляду на жизнь.

Чарльз удивлялся, почему в ночи, загубленные кошмарами и бессонницей, когда наказание и без того тяжко, он склонен попрекать себя; почему не может освободиться и не усугублять ночное отчаяние от бесконечного ворочания с боку на бок гнетущими мыслями. Да еще со страхом, что на следующий день будет разбит. Чудовищно. Исследование сна или как раз не-сна и сопутствующих физиологических процессов казалось Чарльзу огромным участком невозделанной земли. Однако перекапывать это поле должны другие, его же внизу ждут дождевые черви, ведущие свою незаметную деятельность: создание пахотной земли.

Он увидел, что сейчас три часа, встал, нашарил в темноте свою шерстяную шаль и, раздраженный головной болью, как можно тише спустился по лестнице. Водя правой рукой в поисках перил, чтобы не потерять равновесие, он думал: когда же состоится очередной визит доктора Беккета? На сей раз получалось долго, поскольку доктор ждал новое средство от головной боли, которое, по его уверению, дает надежду и при лечении хронических мигреней, особенно в случае ярко выраженной тошноты. Одна надежда приносила Чарльзу некоторое облегчение. Кроме того, он радовался визитам доктора, уже за несколько дней придававшим ему чувство уверенности. Дарвину нравились их разговоры, так как Беккет интересовался научным прогрессом, а также смело пробовал новые методы лечения.

Чарльз на ощупь, осторожно пробирался по кабинету, чтобы не затрясся пол. Только бы не споткнуться о горшки! Тогда на подопытных червях можно будет ставить крест. По крайней мере, сегодня. Наверно, при заказе посуды ему следовало задать более точные параметры. Ведь в темноте белую посуду наверняка видно лучше. Пару недель назад он попросил у керамической фабрики в Этрурии партию фаянса, все-таки его жена Эмма – урожденная Веджвуд. В письме дирекции Чарльз писал, чтобы прислали брак, для новых экспериментов он нуждается в самого разного рода сосудах. О том, что на сей раз речь шла не о клематисе и примуле, он умолчал. Хотя, наверно, Веджвуды поделились бы своими «Queen's ware», а также бракованными копиями этрусских ваз и для червей, поскольку в те дни, накануне весны 1881 года, Чарльз Дарвин уже несколько десятилетий являлся знаменитостью. Его книги читали во всем мире, и это сказывалось в том числе на размерах мешка, каждый день доставляемого почтой: на островах Южного океана ботаники выдирали из земли корешки, в Бразилии один любитель природы наклеивал крылышки бабочек на бумагу, жители Лапландии измеряли лосиные рога. Находки и вопросы поступали со всего света. Кое-что ценное, много лишнего. Сведения о крохотной голубиной лодыжке или дотошное описание обезьяньей гривы из Калькутты – все оседало в Даун-хаусе. И конечно, во множестве получаемых им писем речь шла о Боге: нужен ли еще Создатель в мире, развивающемся по законам эволюции?

Половина всех дураков со всех концов света задают ему глупейшие вопросы, ворчал он всего день назад за ужином. Когда головная боль сверлила особенно яростно, он мог обойтись с корреспондентом резко: «С сожалением должен Вам сообщить, что не верю в Библию как в божественное откровение, а потому и в Иисуса Христа как в сына божьего».

Как бы то ни было, через несколько дней после письма Дарвина с гончарного завода Веджвудов в Даун-хаус прибыла повозка с тремя большими дребезжащими ящиками. И теперь в бессонные часы Чарльз светил керосиновой лампой на своих червей. На свечу накануне ночью они среагировали по-разному. Одни ушли под землю, другие нет.

Взяв со стола списки червей, Чарльз приготовил секундомер и карандаш. Он хотел наконец понять, реагируют ли на световой возбудитель – и если да, то как – эти ночные гуляки, малощетинковые черви (пусть лишь и в ограниченном пространстве веджвудского горшка). Их глухоту Чарльз уже доказал. Черви не обращали внимания даже на свисток внука Бернарда, который был весьма охоч до экспериментов и с раскрасневшимися щеками ждал команд дедушки. Он с волнением набирал воздуха, задерживал дыхание, а в решающий момент всю силу своих легких отдавал научным исследованиям. И всякий раз бывал горько разочарован тем, что черви его не слышат, как бы он ни свистел.

Эмма к явной червяковой глухоте отнеслась спокойнее. Чарльз поставил ей на столик возле пианино два горшка, накрыв их тонким стеклом, чтобы на результат не повлияло ни малейшее дуновение воздуха. Играла ли Эмма Шуберта или Генделя – черви просто-напросто ничего не слышали. Да и зачем Богу Всемогущему давать уши существу, живущему под землей и непрерывно поедающему эту самую землю?

Чарльз уже давно не отвечал жене на подобные вопросы, просто улыбался и молчал. Однако когда он с хитрецей во взгляде поцеловав ее в щечку, поставил горшки прямо на пианино, надежды оправдались. Эмма взяла низкую до, и черви тут же ушли под землю. Едва они снова вылезли, Чарльз дрожащей рукой взял еще ноту, на сей раз высокую соль, и черви опять поскорее запрятались в норки. Чарльз посмотрел на секундомер, возликовал, что Эмма сочла перебором, и с точностью до секунды нацарапал результаты в список. Сколько они ни повторяли эксперимент, все происходило по одной схеме: дождевой червь, несомненно, чувствовал доходящие до него через горшок и влажную землю колебания и толчки, но был глух, как Бетховен, что с большим удовольствием констатировала Эмма. Поскольку слышащие черви в благоустроенном мире Божьем казались ей абсурдом.

В бледном свете ущербного месяца, криво висящего в небе над графством и придававшего нечто жуткое кабинету со всеми инструментами прилежного естествоиспытателя и с заспиртованными образцами редких анатомических явлений, Чарльз осторожно снял с керосиновой лампы абажур и стекло. Зажег фитиль и принялся ждать, когда пламя перестанет колыхаться и примет правильную форму овала. Он любил этот переход и впитывал в себя мирный свет. В такие моменты отступала взбудораженность, десятилетиями гнавшая его из постели, эта мерзкая смесь бессонницы, скверного пищеварения и нервических головных болей.

Чарльз приблизился к первому червю, который, как только его осветил свет, моментально ушел в землю. Следующий не среагировал. Третий тоже нет. Потом один спрятался. Результат неудовлетворительный.

Чарльз смотрел на продукты жизнедеятельности своих питомцев и спокойно думал. Он многократно повторял эксперимент, материала ему требовалось много. И все-таки даже когда черви прятались не сразу, а через какое-то время, они прятались обязательно. А еще эти гуляки делали то, за чем он следил с особым интересом: очень медленно, будто не желая привлекать внимания, поднимали переднюю, сужающуюся часть тела, давая понять, дескать, они настороже и вроде как чем-то удивлены. Чарльзу нравилось думать, что черви обладают разработанными чувствами и ищут повод для возбуждения, он наблюдал за ними с уважением.

Иногда безглазые животные крутились, будто что-то осязая. Забыв о боли в голове, Чарльз выводил в блокноте: «Червь – животное боязливое. Поскольку глаз у них нет, нужно предположить, что свет проникает сквозь кожу и каким-то образом раздражает нервы. Это дает им способность отличать день от ночи. Без каких бы то ни было исключений, подвергаясь освещению, черви в течение пяти – пятнадцати минут уползают в норки».

Животные вели себя так всю ночь. А рано утром Чарльз стал свидетелем их любви. Он отогнал появившееся смущение и осветил парочку. С удовлетворением отметил, что половая страсть достаточно сильна для преодоления боязни света. Еще только подступая друг к другу, черви не были готовы из-за помех отказаться от своего намерения.

Чарльз поудобнее уселся в кресле с секундомером и, пока тот отсчитывал долгие минуты соития, довольный, зевал. Он поставил около прижавшихся друг к другу животами червей лампу, замерзнув, закутался в шаль и, никуда не торопясь, наблюдал за совокуплением розовых граждан Земли в свете эволюции.

Уже много лет назад Дарвин под микроскопом определил местоположение семенников и яичников, имеющихся у каждого дождевого червя, и достал их. Стало быть, он давно знал о двуполости этих существ, как и о том, что половую задачу червь не просто может решить самостоятельно, но и решает, хотя и редко, то есть оплодотворяет собственное яйцо собственным сперматозоидом. И таким образом воспроизводит копию себя. И не вчера Чарльз записал: подобные бирюки менее перспективны для дальнейшего существования вида, чем общительные черви, ищущие партнера, а лучше нескольких, и в радостном возбуждении совокупления соединяющие разные наследственные задатки, смешивающие их и таким образом создающие новое.

Полжизни он потратил на то, чтобы объяснить, почему одни виды вымерли, в то время как другим удалось противостоять трудностям новых условий жизни и приспособиться к ним. Во всяком случае, если мерить масштабными временными отрезками, что больше соответствовало сути Чарльза, чем скороспелое и спонтанное. Естественно, его медлительность сказывалась и в стиле работы: прежде чем обнародовать свою мысль, тем более в форме книги, он десятилетиями думал, исследовал, сомневался.

Пока черви бесшумно возились под лампой, Чарльз взял аккуратно сложенный плед, уже лежавший на спинке кресла, укутал мерзнувшие плечи и отпустил мысли. Поскольку черви не отвлекались от безмолвного занятия, Чарльз прислушался к собственной, рождающейся во внутренних чащобах, довольно путаной речи. В тиши бессонных ночей он нередко повторял

про себя сделанные им – неважно когда – открытия. Старик будто хотел удостовериться, что все ставшие знаменитыми мысли еще при нем.

В свете керосиновой лампы его теория развития всей жизни показалась не только последовательной, но и исполненной большой естественной красоты. Помимо прочего, представление о продолжающейся эволюции утешало. Все течет. Ничто никогда нельзя назвать окончательным. Развитие не останавливается, природа постоянно изменяется. И именно благодаря нескончаемым преобразованиям всегда имеется возможность совершенствования.

Ему понравилась мысль, что земной шар тоже вращается вокруг Солнца не раз и навсегда сформованным комком, но из-за извержений вулканов, наводнений, обрушения гор непрерывно меняется. Никогда Чарльзу не забыть потрясения от зрелища сильного землетрясения на юге Чили. Во время кругосветного путешествия он случайно стал свидетелем подъема берега в результате разрушительной тряски. С тех пор прошло сорок шесть лет, и перевернувшие его тогда ощущения за десятилетия осели в организме. Чарльзу нравилось под лупой рассматривать различные слои этих отложений, он будто ходил по полю с геологическим молотком и снимал пробы собственного прошлого.

Это произошло 20 февраля 1835 года, незадолго до полудня. От приводившего в ужас движения земли у него закружилась голова. Немного похоже на покачивание судна при легкой боковой зыби, последствия которого могут описать только несчастные, подверженные морской болезни. Чарльз ехал верхом, как вдруг его перевернуло вместе с лошады. Он очутился на земле, в рот набилась пыль. Лишь только он встал, его опрокинуло опять. Толчки следовали один за другим. Над землей проносились раскаты грома. Повсюду, уклоняясь от летящих бревен, ползли на четвереньках люди. Тряска длилась всего две минуты. Потом: берег усеян мебелью. Кроме множества стульев, столов и книжных шкафов попадались крыши, перенесенные сюда почти в целости. Обломки камней с облепившими их морскими организмами, с которых капало, еще недавно покоившиеся глубоко под водой, теперь были выброшены далеко на берег. Море бурлило. Почва во многих местах дала трещины в направлении с севера на юг, а небо потемнело от пыльного облака.

Повсюду вырывался огонь, все кричали. Вскоре с неодолимой силой, смяв дома и деревья, обрушилась огромная волна. Люди бежали, будто за ними гнался дьявол. Коров с телятами унесло в море. На берег выбросило какой-то корабль, затянуло обратно, опять выбросило, опять затянуло. Потом два взрыва в бухте: один похожий на столб дыма, другой – на фонтан, пущенный гигантским китом. Вода будто кипела, она почернела и издавала пренеприятнейший сернистый запах. Кому бы тут не пришла мысль об аде?

Зачем Бог делает подобное? Или, если не Сам, зачем допускает, чтобы на стольких людей обрушивались страдания? От этих вопросов не уйти никому. Ни жителям, смотрящим на свою вздыбившуюся бухту, имеющую теперь другую береговую линию. Ни рыбакам: им в будущем придется заново ориентироваться, поскольку некая сила, чье происхождение они не знали, взорвала и унесла скалы, обнажив прежде покрытые водой камни. Потому что обширные поля мидий, за которыми еще недавно нужно было нырять, оказавшись в трех метрах выше поверхности воды, начали гнить.

Непонимающе осматривая потрясенную землю, люди кричали: «Misericordia! Милости! Господи! Молим тебя о пощаде, Всемогущий Бог!» Однако ни громкие мольбы, ни тихие словословия не могли скрыть, что у них появились сомнения в силе Божьей. Или в Его справедливости.

И так они стояли рядом на перепаханном берегу: те, у кого осталась крыша над головой, и те, у кого уже нет, – ругаясь с обезумевшими рыбаками и сбивавшимися с ног священниками. Кто мог дать исчерпывающий ответ на все их сомнения? Они спросили у английского джентльмена, они знали, что он образован, но тот уклонился от толкований.

Молодой Дарвин, которому несколько дней назад в Новом Свете, далеко от Англии, далеко от семьи, исполнилось двадцать шесть лет, жадно впитывал впечатления и клялся себе, что, подгоняемый жаждой знаний, никогда не ослабнет в своем стремлении понять лежащие в основании таких явлений природные законы. Даже если достигнутые результаты не будут согласовываться с его прежним представлением о Боге и с тридцатью девятью статьями Англиканской церкви, на которых он, будучи студентом теологии Кембриджского университета, приносил присягу.

В эту тихую ночь в Даун-хаусе, у остывшего камина, откуда исходил запах сгоревших буковых поленьев, Чарльз испытывал такое же смятение чувств, как и в тот день, когда природа показала ему свои когти. Горько и унизительно видеть, как творения, потребовавшие столько времени и труда, разрушаются за пару минут. С одной стороны. Однако естествоиспытателю невероятно повезло стать свидетелем истории Земли.

Когда планета давала мегапредставление, он сидел в зрительном зале. Видел драму, в ходе которой разнообразные каменные наслоения сражались не на жизнь, а на смерть. Перестраивалась земная кора, появлялись разломы, трескались целые слои Земли, разряжалось напряжение во внутренностях планеты – он чувствовал первозданную мощь. Широко раскрыв рот и глаза, Чарльз только смотрел. То было самое чудовищное и самое интересное зрелище, какое ему довелось наблюдать.

Он поднял взгляд от милующихся в полной тишине червей и посмотрел на мерцающую луну, теперь похожую на чуть набухший ломтик яблока в рамке кабинетного окна. Поскольку любовная игра все длилась, он решил продолжить статистику испражнений дождевых червей. Так как роль этого производителя пахотной земли в истории планеты, особенно ее устройства, переоценить невозможно.

Долгие годы Чарльз заносил в списки терпеливо сосчитанные комочки экскрементов. Разумеется, из расчета на одного червя. И недавно за обедом заявил, что вместе взятые черви Англии и Шотландии проглотили около трехсот двадцати триллионов тонн песчинок, терпеливо переварив, прогнали их через себя и тут же выдали аккуратнo размельченный гумус. Когда Чарльз провозгласил временной отрезок, уличающий Библию во лжи, – триста двадцать триллионов тонн земли за миллион лет, – Эмма попыталась полностью сосредоточиться на супе. После чего между супругами воцарилось ледяное молчание, которого первым не вынес внук Бернард. Испытывая от такой атмосферы неподдельное страдание, он в который раз спрятал лицо в салфетку, чтобы скрыть слезы.

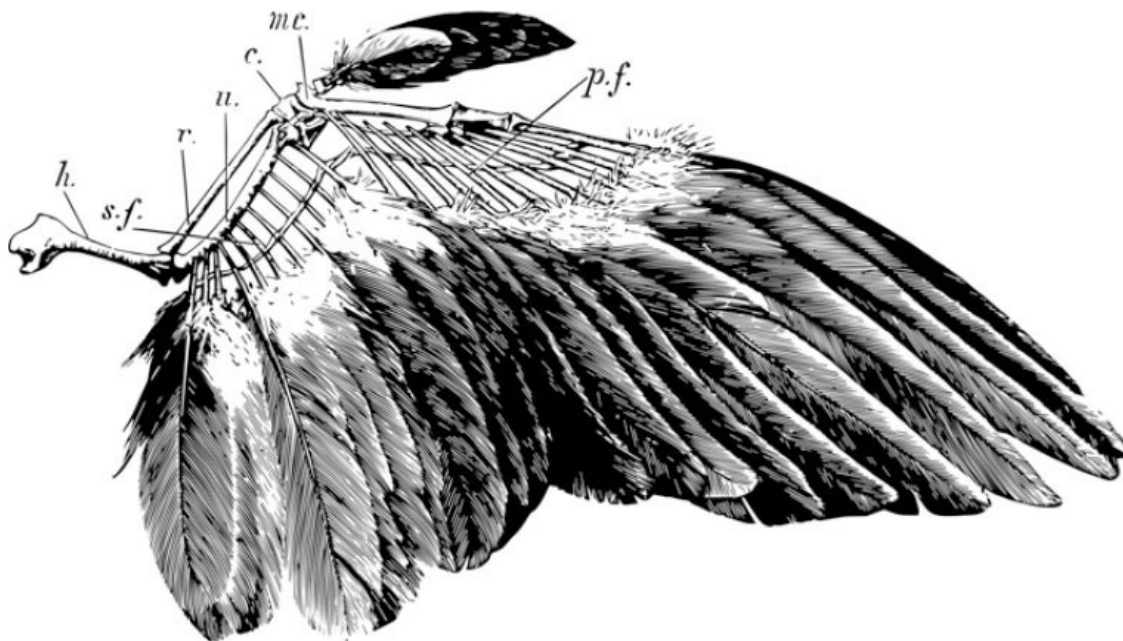
Чарльз как раз задремал, когда в камине упало не полностью сгоревшее полено. Черви еще прижимались друг к другу животами, Чарльз счел особенно удавшейся кривую в форме буквы S. Гармоничные встречные движения, как он понял за долгие годы наблюдений, удавались дождевым червям не в равной степени. И они имели тонкие отличия по красоте, цвету, гибкости.

Чарльз замерз. Укутывая плечи сползшим пледом в зеленую клетку, а шею плотнее обворачивая шалью, он не мог избавиться от мысли о надвигающемся ледниковом периоде. Горе млекопитающим, которые в преддверии наступающих холодов не смогли отрастить мягкий, теплый подшерсток! Или подобраться поближе к жилью и огню. Он откинулся в кресле и признал правоту Эммы: возможно, несколько противоестественно при каждом ощущении, каждом мельчайшем наблюдении тут же надевать очки эволюции. «Ах, Чарльз, – говорила в такие минуты Эмма, – да ты просто одержим». А он всегда отвечал: «Тобой, любовь моя». И нежно целовал. Даже если поблизости находился Джозеф, который, чтобы не дай бог не помешать, немедленно подыскивал себе какое-нибудь занятие. Чарльз, закутавшись в плед, поуютнее устроился в кресле, улыбнулся и заскучал по жене. Может, пойти наверх?

Чарльз посмотрел на часы – пять. Не время будить Эмму. Он опустил взгляд на Полли, спавшую в своей корзинке у камина и время от времени водившую лапами. Может, ей снилась охота.

Когда черви, получив в яичники порцию сперматозоидов, наконец уползли в землю, Чарльз нажал на секундомер. Записывая время – пара предавалась свету и любви один час двадцать минут, – он испытывал легкое радостное предвкушение оттого, что скоро у него в кабинете почувствует свет нежная кожа маленьких червячков. Затем потушил фитиль и решил вздремнуть в просторном кресле.

Эмма и голуби



Эмма, как всегда, спала хорошо. Когда она встала и надела шелковый халат с вышитым слева над грудью маленьким серебристо-синим голубем, была половина седьмого. Еще затекшими ногами Эмма прошла по коридору, радуясь, что пару дней назад купила в Лондоне персидский ковер, по нему теперь так приятно, мягко ходить босиком, и он заглушает скрип половиц. С непокрытыми волосами, где блестели редкие серебристые пряди, она проскользнула в спальню Чарльза под воздействием чувства, называемого ею утренней любовью. А также беспокойства, как ее Чарли провел ночь.

Кровать пуста. Эмма засунула руку под одеяло, проверяя, хранит ли оно тепло. Холодно. По мягтым подушкам и простыням, кое-где обнажившим матрас, можно было понять жестокость сражения Чарльза со сном. За долгие годы брака Эмма выучилась читать по мужниным следам. Сегодня, как случалось нередко, он, судя по всему, проиграл быстро. Стоявший на ночном столике открытый флакончик с мятным маслом, которое Дарвин втирал в виски при головной боли, тоже не предвещал ничего хорошего. Эмма аккуратно его закрыла.

Не желая столкнуться с прислугой, начавшей приготовления к завтраку и разводившей огонь, Эмма торопливо спустилась вниз и проскользнула в Чарльзов кабинет. Он мирно дремал в кресле в окружении горшков с дождевыми червями. Чтобы не разбудить его, она медленно развернулась. Эмма давно уже радовалась каждой минуте, когда Чарльз спал. Но тут он пробормотал:

– Я проснулся, голубка моя. Да ты простудишься босая.

Снова закрыв дверь, Эмма сказала, что нужно наконец дать указание смазать скрипучую дверную ручку, прекрасно понимая: ее слова имеют мало шансов стать реальностью, поскольку мужу эти звуки довольно важны. Скрип придавал ему чувство уверенности. Когда он был глубоко погружен в работу, никто не мог проникнуть в его святая святых беззвучно, не возвестив о себе таким образом.

Чарльз слегка сдвинулся в кресле и приподнял кашемировый плед. Эмма забралась под него и заворковала. Кресло, не рассчитанное на двоих, застонало. Тем более что Эмма с годами и после множества родов несколько раздалась в ширину. Они решили переместиться в шез-

лонг. Устроившись, Эмма положила ступни Чарльзу на колени. Тот принялся массировать ей пальцы. Он тоже любил утренние минуты, когда жену еще не затянула ежедневная рутина.

– Не спалось? – мягко спросила Эмма.

Из-за холмов Дауна поднималось солнце.

– Нет. Немного продвинулся в исследованиях.

– Дождевые черви?

– Да. И кое-что повспоминал.

– Как мы познакомились?

– Нет, землетрясение в Чили.

Эмма заурчала. Чарльз массировал погнувшийся с возрастом мизинец и наслаждался очарованием начинающегося дня.

– Ах, мой дорогой Чарли! Мне страшно.

– Отчего, голубка моя?

– Я не знаю, сколько нам осталось времени.

– Никто никогда не знает.

– Это правда. Но неужели мне нужно объяснять самому знаменитому из всех живущих ученых, как уменьшается вероятность того, что наше общее время на Земле продлится долго?

Дарвин поднял седые, в последнее время дико разросшиеся брови, забавлявшие Эмму, глубоко вздохнул и продолжил массаж. Первые лучи солнца добрались до шезлонга и тронули лицо Эммы, еще мягкое после ночи и тем выманившее у Чарльза пару поцелуев. Когда он начал гладить ей лодыжки, Эмма заулыбалась.

– И чего же ты боишься?

Чарльз говорил не очень четко и теперь совсем неохотно, так как знал ответ. А ему хотелось насладиться этим маленьким утренним счастьем без помех в виде тяжелых разговоров.

– Наша разлука станет вечной, – сказала Эмма, побледнев, хотя лучи солнца в этот момент так выгодно осветили ее нос, особенно любимый Чарльзом.

Она чихнула. И перестала урчать, хотя Чарльз добрался до голеней, что ей так нравилось.

Умолк и Чарльз. Да и что он мог сказать, не причинив ей боли? Они не впервые подбились к щекотливой теме расставания.

– Я знаю, ты не веришь в рай, – сказала Эмма в мучительной тишине, которую лишь на мгновение нарушила Полли, поудобнее устроившись в корзине у камина и опять мирно заснув. – А ты знаешь, что для меня это значит.

Чарльз молчал.

– Я увижу всех – родителей, братьев, сестер. И конечно, наших умерших детей. Только тебя у меня не будет. – Эмма больше не хотела сдерживать слезы. – В тот момент, когда один из нас умрет, мы разлучимся навеки.

Из нагрудного кармана ночной рубашки Чарльз достал носовой платок. Отер ей щеки, сегодня утром показавшиеся ему более впалыми, чем обычно, и всмотрелся во множественные морщинки, разветвляющиеся к вискам и, поскольку в них скопилась влага, напомнившие ему дельту реки.

– Как же мне перенести разлуку, когда нет никакой надежды?

Чарльз молчал.

– Уже сколько лет ты провожаешь меня лишь до входа в церковь. Доставишь мне удовольствие? В следующее воскресенье войдешь туда со мной?

– Ах, Эмма.

– Ну пожалуйста!

– Что это изменит?

– Бог увидит, что по крайней мере ты стараешься. – Эмма стала настойчивее.

– Я старался всю жизнь.

Эмма молчала.

Чарльз молчал.

Эмма принялась аргументировать, а Чарльз испугался ее слов, поскольку, как всегда в такие моменты, чувствовал, что она загоняет его в угол.

– Мне кажется, твои исследования подвели тебя к тому, что ты любую проблему рассматриваешь с научной точки зрения. И со всеми твоими голубями, раками, шмелями и червями у тебя не хватило времени и терпения поставить другие важные вопросы. Да вообще обратить внимание на тревоги близких.

Чарльз молчал.

– Но я надеюсь, ты не считаешь свое мнение окончательным.

Чарльз молчал.

– Как бы мне хотелось, чтобы привычка исследователя не верить ни во что – вообще ни во что, пока оно не доказано, – не слишком сильно повлияла на твою душу. Я говорю о том, что нельзя препарировать так же, как морских уток.

Чарльз вздохнул.

– Чарли, мы уже старые. У нас не так много времени. Ты добился всего, чего хотел. Бог простит тебе, если ты обратишься к Нему. Он будет милосерден, если ты даже сейчас поднимешься, чтобы найти Его.

Чарльз закашлялся и потуже затянул шаль на горле. У него замерзла и голова. Он коснулся макушки, будто проверяя ее температуру, потом несколько нетерпеливо сказал:

– Ах, Эмма, в таких вопросах я полная бездарь.

– Но тебе не требуются никакие таланты. Награжден будет всякий, кто ищет.

Чарльз молчал.

– Дорогой, ты ставишь крест на нашем будущем! На всем, что тебе тоже важно! Или ты не хочешь увидеть свою дочь Энни, меня?

Чарльз молчал.

– Разумеется, я не могу *доказать* тебе, – Эмма недовольно растянула «доказа-ать», – что нас ждет рай. *Доказа-ать* – в твоём холодном, естественно-научном понимании. Но дело не в этом. Пойми же наконец, в вопросах веры дело не в доказательствах.

Через некоторое время она с непривычной горячностью, устремив глаза на потолок, воскликнула:

– Господи, помоги, да пусть же меня услышит собственный муж! – И глубоко вздохнула.

Чарльз смущенно заверил ее, что внимательно слушает. На самом деле больше всего ему хотелось бежать. Эмма разошлась.

– Для меня несомненно, что в момент смерти мы опускаем ручку двери, ведущей в другую комнату. В божественное пространство, одаряющее нас вечной жизнью. Но для тебя, если ты отвергаешь Откровение, дверь навсегда останется закрытой. Всякий, кто не признает божественность мира, будет изгнан, изъят из вечной жизни. Когда-то Библия столько для тебя значила, ты изучал ее.

Чарльз молчал.

Эмма заломила руки и в отчаянии принялась тереть их. Вышел нестерпимый для Чарльза звук. Вроде шуршания сухой листвы. Ему было холодно.

– Если ты не разделишь ее со мной, вечная жизнь для меня не дар, а вечное наказание.

– Ах, Эмма, голубка моя.

Чарльз коснулся миниатюрной вышивки у нее над сердцем, заказанной им давным-давно. Точнее, в «эпоху кошмара» – выражение Эммы – в те далекие пятидесятые годы, когда Чарльз работал как одержимый и больше всего остального на свете его окрыляло разведение голубей. Пока Эмма спорила со священником Дауна, можно ли по воскресеньям вышивать, Чарльз работал даже в Рождество и на Пасху. Ибо, дабы подкрепить теорию эволюции, должен был

доказать, что природа осуществляет мириады крошечных изменений, и утратил при этом всякое чувство меры.

Эмма становилась тогда свидетельницей удивительных разговоров, которые ее муж – в синем садовом фартуке и зеленоватой кепке с козырьком, призванной уберечь его от падающего помета (карандаш и блокнот всегда под рукой) – вел сам с собой и голубями.

Чарльз с восторгом организовывал птичью любовь, по все более точным планам спаривая определенных дам с определенными кавалерами, а потом неусыпно дежурил у разных по величине белых или коричневатых яиц, хотя и не мог скрыть свое пристрастие к бежевым.

Он мог сделать голубей более стройными, утолщить клюв или наколдовать какое-нибудь особенное оперение на голове. В избытке гордости голубятника он заявлял, что ни в чем не уступает самым модным дамским портным.

Если бы только не горы трупов. По сравнению с этим не так страшно было даже воркование, которое в самое неподходящее время будило всю семью. Потому что за разведением следовало убийство.

В письме к кузену Фрэнсису Чарльз признавался: «Я совершил злодеяние: умертвил десятидневных павлиньих голубей. Тяжело, скажу тебе, видеть, как ковыляют птенцы, эти неловкие ангелочки, а в следующую секунду принять решение и сделать так, чтобы они вдохнули синильной кислоты и поникли. Хотя все происходит во священное имя науки! Дорогой Фрэнсис, ты не узнаешь мой кабинет. Из берлоги ученого он превратился в комнату ужасов».

Там посреди уродившихся калекami дутышей лежали и разлагались некогда самые красивые птенцы павлиньих голубей. Это, конечно, не оставило равнодушными и детей. Как же Эмма могла хотеть, чтобы он называл ее голубкой?

После убийства он их варил. Что несколько упрощало препарирование птичьих скелетов. Клубы пара, вырывающиеся из кастрюль, используемых не по назначению, обволакивали весь дом, вызывая рвотные позывы. Даже терпеливейший дворецкий Джозеф, умевший в любой мыслимой ситуации держаться подобающе, в то время часто выходил на улицу продышаться.

Убийства, варка, препарирование – вот цена, что приходилось платить Чарльзу. И пока он измерял кости, описывал перья или сравнивал клювы, непрерывно звучал вопрос: в какой момент возникает вид? Когда именно модификация, начинающаяся с крошечных изменений, становится новым видом?

С тех опытов прошло более четверти века. На свое семидесятилетие Эмма достала халат с голубком, который почти не носила, и оба не проронили об этом ни слова. Чарльз с благодарностью обнял ее. Они долго стояли. И Эмме показалось, что в бороду мужа упали две слезы, а может, и больше.

Солнце осветило кабинет утренним светом, и Эмма убрала ноги. Полли в корзинке встала, как следует отряхнулась, подошла к шезлонгу и положила голову на обивку. Эмма, вздохнув, правой рукой рассеянно почесала Полли за ухом, но та с заметным недовольством зарычала. Эмма встала, тщательно убрала волосы с лица, затем решительным движением головы, как строптивая девушка, забросила их за спину и, не сказав ни слова, вышла.

Когда заскрипела дверная ручка, Полли одним прыжком вскочила на шезлонг и устроилась на нагретом месте.

– Ах, Полли, – сказал Чарльз и решил, что пора заняться утренним туалетом.

Целую неделю, продолжая ночные опыты с дождевыми червями, Дарвин определял их чувствительные к свету места, накрывая определенные части червякового тельца черной бумагой. Эмма на несколько дней отменила утренние визиты, решив для себя, что лучше за мужа молиться, чем потчевать разговорами, все равно не дававшими никаких результатов.

Чарльз же в эти дни был особенно внимателен к жене, держался чрезвычайно предупредительно, приносил ей из теплицы цветы и хвалил вышивку. Но главным образом пополнял червяковые списки точными до миллиметра замерами экскрементов на газоне. Он счи-

тал в тоннах на год и на площадь графства Кент и уже страшился синтаксических пропастей, поскольку теперь ему предстояло для обещанной книги перенести расчеты на бумагу так, чтобы читатель их понял.

С ненавистным писанием он тянул еще пару дней, пинцетом прижимая к червям ватные шарики, пропитанные духами или табачным соком. Но черви вообще их не замечали. Иначе дело обстояло с капустными листьями и луком, которые они с удовольствием поедали. К излюбленным блюдам относился также хрен, выше его стояла только морковная ботва. «Представь себе, если бы у них были глаза, – сказал он Эмме за чаем, – обгрызая привядшие листья *phlox verna*, они бы закатывали их от удовольствия».

Эмма поняла, что он в очередной раз влюбился. Значит, теперь после орхидей, голубей и усонюгих – полезный труженик земли, выполняющий важную геологическую работу, разрыхляя землю для крестьян и садоводов. Она позволила Чарльзу эту влюбленность, хотя горшки заставили все подоконники, а после кормления повсюду валялись кусочки сырого мяса и капустных листьев, которые, если прислуга вовремя их не находила, начинали пахнуть.

Правда, один раз, увидев, как Чарльз орудует раскаленной докрасна кочергой, проверяя реакцию так скудно оснащенного органами чувств животного на тепло, она вмешалась. С ревом запротестовал и Бернард, беспокоясь о нежной коже безобидных червей. Для четырехлетнего малыша обитатели кабинета и бильярдной давно стали членами семьи. Может, дело объяснялось тем, что *lumbricus*'у, дождевому червю, удавалось хотя бы на время выводить деда из подавленного состояния. Даже Эмма, всю жизнь вынужденная терпеть опыты не только на кухне, но и в столовой, заключила животных в сердце, поскольку от эксперимента к эксперименту дождевой червь все больше выказывал личностные качества, а в конце концов прошел даже хитроумную проверку на разумность.

Чарльз подложил подопытным животным клочки писчей бумаги и после наблюдений, длившихся много недель, установил, что восемьдесят процентов червей захватывают клочок губами за острый кончик и так затаскивают в норку. Восхищенный Дарвин записал: «Они заслуживают, чтобы их назвали умными, поскольку поступают почти так же, как поступил бы в подобной ситуации и человек».

Это Эмме показалось слишком, ей не могло понравиться, что муж – горячо любимый – все продолжает сравнивать человека даже с дождевыми червями.

На подобные сравнения обижались и другие. Прежде всего на то, что он поместил человека наряду с остальными животными всего лишь на особую ветвь генеалогического древа жизни. Практически можно утверждать, неприятности Дарвина, как и его слава, начались в 1837 году с плохонького рисунка, на котором было изображено чахлое, погнутое ветрами деревце в блокноте В – тайном. «I think», «я думаю», написал он над этим первым генеалогическим древом, начав тем самым неслыханную игру разума, навсегда изменившую суть человека.

Правда, никто не знал о сомнениях, одолевавших его в ту ночь сорок четыре года назад. Ибо если принять набросок всерьез, он, вероятно, уже не сможет исследовать природу так, как надеялся прежде.

«Всем своим существом я чувствую, что вопрос слишком глубок для человеческого разума, – писал он в письме кузену Фрэнсису, с которым часто советовался в минуты подобных сомнений. – С таким же успехом моя собака могла бы размышлять на тему рождения звезд.

Фрэнсис, дорогой мой, насколько достоверными могут быть результаты, добытые данным способом? Меня одолевают страшные сомнения: имеют ли воззрения человеческого разума, сформировавшегося из разума низших животных, какую-либо ценность? Можно ли, пребывая в предмете, посмотреть на него со стороны? Я чувствую себя узником, от таких мыслей мне становится дурно. Разумеется, я не сомневаюсь, законы эволюции применимы и ко мне лично, но никогда не думал о том, что это может значить для моих научных изысканий. Ах, Фрэнсис, можешь ли ты меня хоть чем-то утешить?»

Едва Чарльз задался вопросом о границах познания, как страшно закружилась голова. Еще хуже, чем во время кругосветного путешествия на борту «Бигля», когда его мучила морская болезнь. Он схватился за письменный стол обеими руками, так что побелели костяшки. Когда стало чуть лучше, продолжил писать:

«Каковы шансы у человеческого разума, развившегося для производства рубил, решить наши великие вопросы? Как может стать всезнающим мозг млекопитающего, питаемый из того же источника, что и нервы нематоды? Может ли кто-то довериться мнению обезьяньего мозга? Вопрос неразрешим. Мои мысли заключены в мозг, сконструированный именно так и никак иначе. Только там они могут крутиться белкой в колесе. И все же! Не приоткрывается ли время от времени окно познания? Я думаю о Копернике! Галилее! Ньютоне! Это утешает. Пожалуйста, ответь поскорее. С любовью. Твой кузен Чарльз».

Той ночью сомнения схватили Дарвина мертвой хваткой, их было не отогнать. Даже в пору самых громких успехов Чарльз помещал свою личность в длинный ряд: от одноклеточного, через нематоду, улитку, орхидею и дождевого червя до Ньютона и королевы Виктории. На бесконечную ленту жизни, миллионы лет соединяющую всех и вся и ограничивающую каждую отдельную особь тем, чем наделила ее природа. Ни одному ученому не дано исследовать природу другими средствами, нежели теми, что она же ему и дала. И он, Чарльз Роберт Дарвин, принужден проникать в суть эволюции мозгом, подаренным ему эволюцией.

Фрэнсис Гальтон, увлеченный тогда романтическими отношениями, ответил наспех: «Мой дорогой Чарльз, к сожалению, ты прав во всем. Утешения тут нет. Кроме того, какое дают нам женщины. И все же подумай: даже если все мирские страсти развились из нематоды, разве оттого они доставляют тебе меньше радости? Так же и с естественной историей. Она пленяет тебя! Посмотри, как умен язык. Ему тоже известно, насколько неразделимы восторг и неволя. Когда человек любит, он несвободен. Ах, что я такое пишу. Мой разум сейчас не в состоянии думать логично. Оставь мрачные размышления и просто работай. Ты же умница. Ограничивают нас кости черепа или нет. С любовью. Твой кузен Фрэнсис».

Немецкий пациент

В этот серый осенний день 1881 года, протягивая руку к шнуру звонка дома номер 47 по Мейтленд-Парк-роуд, доктор Беккет не предполагал, в каком ужасном состоянии находится пациент, к которому его срочно вызвали. Хрипло дыша, он лежал в кабинете с тяжелым бронхитом, сопровождаемым высокой температурой.

На нового врача возлагали большие надежды. Поскольку прежний, приходивший в дом последние годы и долгое время пользовавшийся доверием, его утратил. Недовольство росло и с другой стороны – поводов имелось предостаточно. Врача раздражали финансовые трудности немецкой семьи. От него не укрылось, хотя, конечно, его и не касалось, коммунистическое мировоззрение хозяина дома, которое – таков был медицинский диагноз – не принесло тому ни богатства, ни радостей жизни. Во всяком случае, счета никогда не оплачивались вовремя. А вечной тяготиной с покрытием векселей, ожиданием денег некоего друга, утешениями в виде уверений, что вот-вот должен поступить гонорар за две передовицы в какой-то американской газете, врач наелся до отвала.

И Фридрих Энгельс, состоятельный благодетель семьи, выдав Беккету карт-бланш, попросил доктора нанести визит больному Марксу и как можно скорее организовать все необходимое, даже если встанет дорого. Беккета ему рекомендовали, имя гремело в Лондоне, и о его нетрадиционных методах лечения много говорили. В телеграмме Маркса, после которой друг Энгельс забил тревогу, говорилось: «Dear friend, нуждаюсь в medical help. Угроза смерти от удушения. Карман пуст. Твой Мавр». Энгельс среагировал незамедлительно и велел передать врачу, чтобы тот переслал счет непосредственно ему.

И вот доктор Беккет со своим потертым врачебным чемоданом поднимался по скрипучей лестнице, затянутой ярко-красной дорожкой. Кабинет располагался на втором этаже, Карл Маркс лежал на кожаном диване. Мешанина из одеял и подушек кое-где съехала, свидетельствуя об ужасной ночи. Пациент, отказавшись причесаться, имел такой же всклокоченный вид, как и постель, хотя любимая служанка Ленхен умоляла его позволить ей расчесать пышные волосы и бороду, в том числе желая явить новому доктору приличный дом.

Широкое окно просторного помещения выходило прямо на Мейтлендский парк. Оно было открыто, что давало больному с высокой температурой некоторую прохладу и помогало жадно вбирающим кислород легким. Но врач тут же распорядился окно закрыть и велел Ленхен в ближайшие дни держать пациента с хриплым дыханием подальше от заметно похолодавшего с приходом осени воздуха, особенно от сквозняков. Иначе в бронхах продолжится разрушительный процесс.

Вы даже не представляете, как он может приказывать, когда ему плохо, очень тихо, чтобы не вызвать у больного дополнительное раздражение, ответила Ленхен.

Доктор Беккет незаметно осмотрелся. Удивительный кабинет произвел на него сильное впечатление. По обе стороны камина и окна стояли высокие книжные полки, переполненные, до потолка забитые перевязанными стопками газет и рукописей. На каминной полке высились башни из книг на разных языках, а всевозможные пресс-папье удерживали кипы разрозненных бумажек. Напротив камина стояло два стола, тоже заваленных бумагами, книгами и газетными вырезками. В центре комнаты расположился очень простой, небольшой рабочий стол с деревянным креслом, на нем раскрытые книги, красивая масляная лампа с темно-красным хрустальным абажуром и несколько плохо заточенных карандашей. На светлой еловой столешнице бокалы с красным вином и чернильницы оставили разного размера круги.

Да для этого больного ученого книги – рабы, решил Беккет. Большинство изранено, изодрано, изувечено. А изначальная красота иных фолиантов в кожаных обложках просто погибла. Вне зависимости от формата, корешка, качества бумаги страницы выдраны, уголки

загнуты, оставлены множественные подчеркивания, заметки на полях. Повсюду видно труженика, навязывающего книгам собственную волю. Маркс, судя по всему, не мог довольствоваться восклицательными и вопросительными знаками, уже во время чтения он должен был либо соглашаться с автором, либо возражать ему. Доктора Беккета, годами с любовью ухаживающего за своей прекрасной домашней библиотекой и пополняющего ее, зрелище привело в ужас, и он сделал определенные выводы о темпераменте и конституции пациента.

Однако Беккет не мог знать, что большинство страниц и выписок ждет беспокойная судьба, что они годами не смогут найти места в целом. Маркс перемещал их туда-сюда, убирал в коробки, опять доставал. Он был мастер кромсать. Всякую мысль заново перерабатывал, отшлифовывал, вычеркивал и опять вписывал. Зажав монокль левым глазом, он ночь за ночью горбился над своими непрестанно множащимися записями. Неустроенное бытие, предназначенное этим наброскам, объяснялось также нечитаемостью многих из них (вполне можно говорить о подавляющем большинстве). Довольно часто и для самого автора. От его почерка страдала прежде всего жена, ибо ей, как помощнице, вменялось в обязанность после многократного переписывания выстроить текст в целое и привести его в состояние, годное для передачи издателю или редактору газеты.

Из-за чертовой погоды он простыл до мозга костей, кашель хуже from day to day, ворчал Маркс с заметным акцентом. А проклятый лондонский воздух, этот сплошной туман и уголь, поставит крест на его раздраженных дыхательных органах.

Кроме того, осмелилась добавить Ленхен, он не спит, часто становится жертвой жестокой меланхолии и теряет аппетит. Доктор Беккет поморщил нос, суждение о лондонском воздухе показалось ему чрезмерным. Состояние бронхов пациента он объяснял скорее разбросанными по всей комнате табачными изделиями.

Беккет основательно осмотрел Маркса. Никогда его стетоскоп не касался торса с таким густым волосатым покровом; доктору казалось, в каждой поре сидит по корню волоса; на руках и из ушей больного тоже кустиками росли иссиня-черные и седые волосы. Беккет стучал, слушал, давил, опять стучал, нюхал дыхание, пот, он старался изо всех сил. От Ленхен доктор узнал, что пациенту шестьдесят три года, что его нередко мучают боли в печени (семейное) и он всю жизнь страдает от болезненных фурункулов.

Для ученого, который в отличие от иных его пациентов никогда не истязал организм тяжелым физическим трудом, общее состояние крайне скверное, пробормотал доктор Беккет, еще раз поморщившись, что Ленхен сочла дерзостью. Если нагружать внутренние органы столь весомым количеством табака и алкоголя, может не спасти даже такая невероятно могучая конституция. И доктор опять поморщился, после чего, помимо явного длительного бронхита, диагностировал плеврит и отметил увеличенную печень.

Отправив Ленхен в аптеку, он лаконично порекомендовал Марксу вести себя осторожнее, дабы не усугубить положение. После продолжительной паузы чуть настойчивее кивнул на камин. Сигары всевозможных размеров, разрозненные и в коробках, бессчетное количество спичек, разнообразные упаковки табака, лежавшие на каминной полке, свидетельствовали о жизни страстного курильщика. Эта пагубная привычка в нынешнем положении категорически непозволительна, он с превеликим удовольствием велел бы все убрать. Маркс кротко кивнул и посмотрел на фотографии дочерей, жены, друга Энгельса, с трудом отстоявших свое место на полке посреди курительных принадлежностей. Близкие будто вымогали у него обещание не рисковать здоровьем, в том числе ради них.

Маркс много курил, уже когда студентом по ночам делал выписки из сначала глубоко им почитаемого, а потом презираемого Гегеля. Невероятно много. Он жил в чаду. И конечно же, в данном отношении хуже всего были долгие годы мучительного создания первого тома «Капитала». Фридрих Энгельс, тоже не брезговавший хорошими сигарами, любил цитировать фразу Мавра, которую тот, утонув как-то ночью в плотных клубах дыма, сказал, открывая

очередную коробку сигар: «Капитал» никогда не принесет ему столько money, сколько стоили все сигары, что он выкурил, пока думал и писал.

Оба, окрыленные надеждой на близкую революцию, а также значительным литражом коньяка, от души посмеялись тогда над этими словами. Маркс – избыточно громко (наследие Рейнланда), а благовоспитанный сын пиетиста Энгельс – довольно мягко. Их голоса прекрасно дополняли друг друга. Да и вообще этих двоих нельзя было представить врозь. Их жизни, как безо всякой ревности утверждала фрау Женни Маркс, настолько переплелись, что почти составляли одну.

После той бурной ночи с коробкой кубинских сигар прошло около двадцати лет, революции так и не случилось, зато пророчество Маркса относительно money сбылось полностью. Однако и в болезни, хоть легкие его и свистели, Карл по-прежнему отдавал все, чтобы не расстаться с надеждой на построение справедливого человеческого общества.

В тусклом свете холодного осеннего дня 1881 года, пока Ленхен ждала в аптеке *collodium cantharidatum*, доктор Беккет рассматривал вытертую полоску на ковре, выделявшуюся четко, как тропинка в поле. Что это значит? Может, перед ним пациент, страдающий маниакальными припадками? Такую беговую дорожку – а иначе потертость не объяснить – он еще не видел ни в спальнях, ни в кабинетах своих больных. На обоих концах тропинки он обратил внимание на странные дыры в ковре, но, несмотря на любопытство, предпочел не загружать пациента в его нынешнем состоянии множеством, возможно неприятных, вопросов.

Убрав стетоскоп в чемодан и достав среднего размера кисточку, доктор осмотрел ее, промыл в спирту и отложил, после чего несколько нетерпеливо – поскольку знал, сколько пациентов его ждет, – обвел глазами комнату. Вдруг взгляд остановился на деревянном столе у окна. Там лежала хорошо известная ему книга, и он обрадовался.

Судя по всему, новый пациент интересовался Дарвином, так как, насколько доктор мог рассмотреть на расстоянии, «Происхождение видов» тоже было пропахано и утыкано закладками. Дистанционный диагноз Беккета гласил: в результате многократного использования книга вместе с обложкой находится примерно в том же плачевном состоянии, что и тома Гегеля и Адама Смита, валяющиеся на полу около дивана. Доктор чуть было не поддался импульсу заговорить с Марксом о Дарвине, но в последнюю секунду остановился. Наверно, преждевременно. У пациента температура, они едва знакомы, и Беккет, предписав себе сдержанность, промолчал. И все же его занимало мнение коммуниста по вопросу о том, действительно ли в результате селекции, в которой всегда имеются победители и побежденные, обезьяны произвели рабочих и капиталистов.

Запыхавшаяся Ленхен вернулась из аптеки с лекарством. Доктор взял кисточку и, недолго думая, нанес *collodium cantharidatum* на спину и грудь больного. Умеренно авторитарным тоном он объяснил Марксу, что доказано: это лечение – чрезвычайно действенный, правда, увы, болезненный, так называемый выводной процесс, имеющий целью выведение ядов из организма. Маркс закашлялся. Раздражающий яд, который он наносит кисточкой на тело, стимулирует кровообращение и ускоряет ток телесных соков. Маркс еще раз закашлялся. Эфирные испарения высушенной перемолотой шпанской мушки – одного из представителей удивительных жуков-нарывников, – по уверению доктора Беккета, со временем явят свою поражающую силу.

Маркс опять закашлялся, причем после напряжения оттого, что приходилось сидеть, очень сильно; казалось, он сейчас либо задохнется, либо его вырвет. Ленхен побежала за тазом; доктор успокаивающим жестом положил теплые руки на окаменевшую от кашля и долгого лежания спину. Он заговорил медленнее и мягче. Через восемь-двенадцать часов на коже, там, где нанесена мазь, появятся воспаленные вздутия. Это хоть и неприятно, но необходимо, поскольку с жидкостью из тканей выйдут и вредоносные яды, увы, скопившиеся в груди.

Посмотрев на Ленхен, врач добавил, что пациенту ни в коем случае нельзя чесаться. Он придет завтра утром, вскроет волдыри и предпримет дальнейшие шаги. От лающего кашля при необходимости следует давать больному столовую ложку жидкости из синей бутылочки, которая его успокоит, в том числе поскольку содержит опиум.

Ночью Марксу снилась жена. Он пытался утешить умирающую Женни, удержать ее в объятиях, но вынужден был то и дело отодвигаться, поскольку грудь так болела и чесалась, что он даже боялся уронить жену. Это продолжалось всю ночь. Он приподнимал Женни с кровати, опять укладывал. Сама она, казалось, ничего не замечала и демонстрировала странную безучастность. Голова ее болталась на слишком утончившейся шее.

Доктор Беккет, как и обещал, явился на следующее утро к восьми с мокрыми прядями рыжеватых волос, в запотевших очках и блестящем от капель черном тренчкоте, принес в комнату больного мрачность британского дождливого дня.

Пациент лежал на диване. Вид жалкий, значительно хуже, чем вчера. Сам он плаксиво описал свое состояние словами *very bad*. У него, мол, такое ощущение, что сильно съезжился эпидермис и тело в любой момент может из него выскочить. Если резко подвинуться, волдыри на спине вскрываются. Ужасно все болит. Рубашка мокрая. Льняная простыня тоже. Маркс страшно хрипел, и понять его можно было с большим трудом.

Доктор, вроде бы довольный, покивал, дал указания, и Ленхен принесла полотенца и горячую воду. Начал Беккет с тщательного осмотра, стучал, слушал и опять нашел то глубокое место под сердцем, которое ему не понравилось уже вчера.

Он молча принялся за работу, вскрывал волдыри, протирал, похлопывал ватным тампоном, наносил йодную настойку, а Маркс время от времени скулил. Ленхен держала все необходимое наготове и, часто вздрагивая, ассистировала. Она еще не видела своего Мавра таким обессиленным.

Закончив с похлопываниями и обмазываниями, врач забинтовал торс и заявил, что при невнимательном уходе за ранами можно занести опасные инфекции. Поэтому он будет заходить регулярно и в нужный момент сам совершит белое кровопускание – так он назвал процедуру. Затем Беккет дал Марксу одну ложку из синей бутылочки. Теперь пациенту требуется абсолютный покой, чесаться все еще нельзя, в том числе ерзая спиной по простыне, зато нужно – взгляд на Ленхен – много пить, в организм должна поступать жидкость. Он пойдет вечером.

Ленхен принесла чай, от души добавив в него бренди, и Мавр залпом осушил чашку. Он закрыл глаза, хрипло задышал и отпустил на волю воображение. Губы с трудом складывали обрывки фраз. Ленхен наклонилась, отерла ему лоб и, кажется, разобрала, что в грудной клетке елозит разодранная до крови мохнатая плевра. А поскольку из-за смещения легких ей не осталось места, он, вероятно, задохнется. Маркс схватил Ленхен за руку. Он всегда боялся заглядывать в себя. Скоро Карл расслабился: при некоторой поддержке бренди, воздействовавшего благотворным теплом на пересушенное горло, сделал свое дело опиум. И Мавр уснул.

Когда Ленхен устало спустилась с пустой чашкой по лестнице, у кухонной двери, уже подняв воротник плаща, стоял Беккет и, очевидно, ждал ее. Ленхен поразила такая вежливость, она не ожидала, что доктор будет с ней прощаться, поскольку он спешил.

– Я могу задать вам несколько вопросов?

Ленхен кивнула и предложила ему чашку чая. Они прошли на кухню. Доктор поставил чемодан на утлый стул, а сам остался стоять. Размешивая в чашке большое количество сахара, он, собираясь с мыслями, покачивался длинным телом взад-вперед. Эта причуда смущала многих пациентов, опасавшихся, что он может потерять равновесие и просто свалиться к ним в постель.

На плохо освещенной кухне да в темном плаще Беккет казался высокой лиственницей со всклокоченной кроной в мокром от дождя лесу.

Вдруг Ленхен сказала:

– Понимаете, господин доктор, в этой семье сплошные несчастья.

– Что вы имеете в виду?

– Ах, понимаете, всего не хватает. Родины не хватает. Денег не хватает. И Бога тоже. А теперь еще и веры в будущее.

Ленхен все время опускала руки в карманы фартука и тут же вынимала обратно. Нервничала. Возможно, проводя ночи у постели Мавра, она очень мало спала.

– Как давно вы знаете мистера Маркса?

– Больше сорока лет. Я знала его уже в Германии. Где мы все родились. С тех пор как он женился на Женни, я всегда с ними. Вы ведь знаете, что в Лондоне... – Ленхен помедлила. – ...мистер Маркс живет в изгнании?

Она была не уверена, насколько откровенно можно говорить, и не хотела заходить слишком далеко на случай, если новый врач, как и старый, придерживается иных политических воззрений, а тогда может пострадать лечение. Но Ленхен заставила себя и смело продолжила:

– Я очень надеюсь, его профессия вам не помеха? Понимаете, он пишет о несправедливости в мире. И как рабочим против нее бороться.

– Это мне известно, – тепло ответил доктор Беккет. – Мистер Маркс написал несколько очень интересных сочинений. Я, правда, не уверен в полной его правоте, но труд во имя более справедливого мира достоин уважения. Весьма достоин.

Ленхен испытала облегчение и уже чуть смелее сказала, что такой труд не просто достоин уважения, но и остро необходим. Ей знакомы лишения бедности. Каково это, когда нет денег купить картошки голодным детям. Или вовсе отказаться от медицины, так как не можешь позволить себе лекарства и врачей. Хотя, в отличие от фабричных рабочих в Манчестере, у них, по крайней мере, есть друг, располагающий средствами и время от времени им помогающий. От фразы к фразе голос Ленхен становился крепче.

– У вас поразительный английский, – сказал доктор Беккет.

Ленхен обрадовалась комплименту, доктор начинал ей нравиться.

– Мы все, вместе с детьми сначала учили французский в Брюсселе и Париже, а потом английский в Лондоне. Правда, девочки быстро перегнали нас, взрослых. И, как сказать, Мавр хоть и знает наизусть целые трагедии Шекспира, но в обычном разговоре спотыкается.

– Он знает наизусть Шекспира? Черт подери.

– Да, и Генриха Гейне. Это немецкий...

– Поэт, я знаю.

– Между собой мы, конечно, по-прежнему говорим по-немецки. Кстати, сейчас мистер Маркс учит славянские языки. В первую очередь русский. Не знаю, правда, для чего, и не уверена, что он сам знает. Конечно, мистер Энгельс и издатель ругаются, требуют, чтобы он дописал свои книги. Но что же именно вы хотите у меня узнать? Вы ведь сказали, у вас есть вопросы.

Доктор Беккет достал из кармана плаща блокнот, к которому шнурком был прикреплен маленький карандаш. Он что-то записал и сказал:

– Пару бытовых вопросов, важных при выборе лекарств. Мистер Маркс предпочитает сладкое или соленое?

Таких вопросов Ленхен не ждала.

– О, тут долго думать не надо. И то и другое! Знаете, господин доктор, Мавр – гурман. Разумеется, когда здоров. И когда кошелек позволяет. Тогда я варю, пеку по собранию рецептов моей бабушки. Даже когда мы находились в бегах и так часто переезжали, я всегда следила за тем, чтобы его не потерять. – Она кивнула на кухонный шкаф. – Я ведь знаю, как он любит немецкие блюда. Особенно когда на него находит тоска. Взять хоть свинину под соусом «Рислинг» и...

Ленхен разошлась, она явно была рада, что доктор Беккет интересуется ее царством. Но тот торопился к другим пациентам и, не дожидаясь перечисления всего ассортимента немецких блюд, перебил:

– Вы упоминали фурункулы. Как часто они появляются? И где именно?

Ленхен потребовалось некоторое время, чтобы от свинины, маринованной в мозельском вине, перейти к фурункулезу.

– Мне кажется, они у него всегда, сколько я его знаю. Правда, по-разному. Эти ужасные волдыри регулярно образуются по всему телу. И на лице. Часто на спине. Бывали времена, когда там... – Она смущенно хихикнула. – Он тогда не мог сидеть, и ему приходилось писать, лежа на боку. Кстати, нередко он сам их вскрывал. Острым бритвенным ножом, когда не было денег на врача. Или когда эта собака, так Мавр всегда говорит, появлялась на таком месте... – Ленхен показала на нижнюю часть тела. – ...он смущался и просил меня принести горячую воду и чистое полотенце. Я, разумеется, должна была ждать за дверью. Я возражала, говорила, что так можно заразиться, но он смеялся надо мной, окунал нож в шнапс и приступал к делу. А потом, измученный, рассказывал мне, как высоко била испорченная кровь.

Доктор Беккет слушал очень внимательно, несколько раз поморщив нос. Ленхен даже решила, что это не столько выражение недовольства, сколько способ поправить сползающие очки. Но до конца она не была уверена.

– Значит, кожа, – сказал он. – А бывает рвота? Тошнота?

– О да, увы. А еще, знаете, такая колющая боль сразу за лбом. По-моему, слева. При таких мучениях он, бедный, всегда говорит о стеснении в груди.

Доктор Беккет добавил что-то в блокнот, положил его в карман плаща и сказал:

– Мистеру Марксу в его душевном состоянии нужны гомеопатические шарики.

От этих слов на глазах у Ленхен выступили слезы. Что только подтвердило диагноз врача, ибо чувство говорило ему: Ленхен не только кормит мистера Маркса, но и довольно хорошо его знает.

– Я поищу нужное лекарство и постараюсь как можно скорее принести. Мне нужно кое-что уточнить. А вам необходимо больше спать. Иначе вы станете следующим моим пациентом. Можно в завершение я кое о чем спрошу?

Ленхен, всхлипнув, кивнула.

– Что вы имели в виду, говоря, что в этой семье не хватает Бога?

– Ах, – вырвалось у Ленхен, и она умолкла, продолжив лишь после некоторого раздумья: – Знаете, господин доктор, немного религиозности не повредило бы. При всех этих несчастьях! Когда нет вообще никакой надежды, на сердце становится так холодно.

Доктор Беккет поморщил нос.

– Вы хотите сказать, после смерти?

– Да, именно. И я совершенно не уверена, что в данном случае, то есть в своих воззрениях на религию, он прав. – Вдруг Ленхен посмотрела доктору прямо в глаза. – Для меня мучительно отсутствие надежды, особенно теперь, когда мы постарели. – После паузы, аккуратно сложив носовой платок, хотя по бледному лицу все текли слезы: – Небо пустое. Так однажды сказал Мавр. Если так, мне кажется, тогда это еще хуже, чем ад.

Беккету захотелось обнять эту женщину, такая она была грустная. Опустив глаза, Ленхен прошептала:

– Немного страха Божьего Мавру тоже не повредило бы.

Доктор решил на сегодня этим удовольствоваться и простился.

Врач без Бога

Пожалуй, фигурой доктор Беккет походил скорее на кипарис, чем на лиственницу. По крайней мере, когда надевал под свой темный тренкот черные, узкого покроя брюки, а на голову – серую шляпу, покрывавшую светлые рыжеватые волосы. Самому ему, несомненно, больше понравилось бы сравнение с кипарисом, так как он любил Италию и уже несколько раз там бывал.

О том, как выглядит Мозель, доктор имел самые смутные представления. Пожалуй, во время следующей поездки на континент он посетит этот винный край. Хотя бы ради филе под соусом «Рислинг».

Несмотря на любовь покушать, Беккет был скорее долговяз. А еще немного близорук. Желая рассмотреть что-либо, он доставал из чемодана, без которого не появлялся нигде, очечник, нетерпеливым жестом, поскольку заедал замочек, открывал его, надевал очки в никелевой оправе и, морща нос, поправлял их. Что на мгновение придавало ему сходство с зайцем, поскольку из-под верхней губы показывались длинноватые резцы.

Во время чтения ему и в голову не приходило пользоваться очками. Чтобы сократить расстояние между глазами и книгой, он предпочитал наклоняться к тексту, что заметно вредило осанке. В поезде или коляске Беккет, как правило, очки не доставал. Размышляя, он не любил, когда взгляд упархивает далеко, считая, что так ему проще концентрироваться.

В последние семестры обучения медицине в Кембридже Беккет зарылся в труды современных исследователей и, чем длиннее становились выписки, тем больше превращался из верующего студента во врача-вольнодумца. Если бы его мыслительная машина работала беззвучно, до полного разрыва с руководством клиники не дошло бы. Но он не мог успокоиться и возвещал свою веру в ничто повсюду.

Юный Беккет проповедовал тяжело больным атеизм, желая, как он говорил, освободить их от страха смерти и ада. Во время tea time непрестанно рассуждал о проблемах человеческого бытия, чем все больше действовал на нервы другим врачам. Что его и погубило. Ведь он мечтал о беседах с коллегами, которые, по его убеждению, тоже ищут ответы на мучительные вопросы обреченных пациентов. Он не мог понять, как столько людей мыслями еще могут пребывать в Средневековье, а не радоваться прогрессу, не думать, не пробовать новое.

Случалось, Беккет вылетал из читального зала библиотеки Британского музея в поисках человека, кому мог бы сообщить только что прочитанное.

Что же до смертей в больнице, он был убежден в утешительном воздействии своей атеистической идеи: тому, кто усвоит, что, родившись из неосознаваемого, он опять уйдет туда же, бояться нечего. Кто задним числом боится тумана, из которого родился? Никто! Так зачем же, смотря вперед, страшиться того же состояния, когда тело всего-навсего опять станет лишенной сознания материей? Опять отправится в туманную вечность, почти можно сказать, домой?

Во время споров доктор Беккет очень любил использовать аргументы и цифры из эссе «Статистические исследования эффективности молитв», люто ненавидимого Англиканской церковью со всеми ее епископами и прихожанами. Его автор, сэр Фрэнсис Гальтон, не пожалел труда и прошелся по датам жизни мужских представителей королевского дома за почти сто лет с целью выяснить, оказало ли какое-либо действие на их жизнь множество публичных молитв. Сокрушительный результат: никакого. Напротив. В королевском семействе продолжительность жизни была даже меньше, чем у простых смертных. То же касалось и храмов: в церкви молния попадала с такой же частотой, как и в обычные дома. Доктор Беккет не сумел сдержать торжествующего взгляда, излагая эссе в больнице.

Если он приносил в отделение кексы к чаю, коллеги понимали, что ему охота пофилософствовать и, например, узнать, какой образ, по их мнению – чисто теоретически, – лучше под-

ходит для описания лишенной сознания вечности: туман, дымка или мрак. Все раздраженно молчали – большинство надеялось на посмертный рай, – а хирург больницы отвечал молодому доктору, что не каждую тему стоит разукрашивать.

Хирург единственный с некоторым вниманием относился к мыслям Беккета, однако и он в коридоре советовал ему не совершать ту же ошибку, которую Церковь совершает уже столетия: иллюстрировать понятия и состояния, о которых ограниченный человеческий разум ничего знать не может. Для молодого Беккета такое недоверие к разуму было непонятно. Он не сомневался, что науки идут прямой дорогой, в конце которой – разгадка жизни.

Беккет не знал тогда, что Фрэнсис Гальтон являлся двоюродным братом Дарвина и с восторгом приветствовал современные науки. И все же сэр был отнюдь не прочь помолиться. И занимался этим довольно часто. Во множестве жизненных испытаний и с надвигающейся смертью молитва, считал он, помогает больше, нежели голые цифры.

И в больнице доктору Беккету пришлось достаточно быстро убедиться, что в данном отношении научные знания не помогают обреченным смерти. Тем более когда он сравнивал конкретную жизнь с точкой в огромной непрерывности. До этой точки – вечность. После нее – вечность.

Когда одна очаровательная женщина сорока двух лет в ночь своей смерти сказала ему, что мучительнее всего ей осознавать, как мало она ценила здоровые дни, теперь же из-за невозвратности прошлого на нее накатывают волны отчаяния, доктор сначала смягчился, а потом им овладело глубокое сострадание, и он остановил словесный поток о круговороте живой материи. Он понял: в будущем ему придется помнить, что утешение нельзя навязать. И уж тем более нельзя утешить разглагольствованиями о химических преобразованиях атомов и молекул, поскольку именно из них состоит человек.

Разговоры Беккета о «ничто» не нравились главному врачу лондонской больницы, случайно ставшему свидетелем того, как доктор выходил из палаты со словами, что пациенту, страдающему сердечным заболеванием, следует выбросить из головы весь библейский бред, тогда ему станет лучше. Лучше попросить прощения у реальных людей на земле, перед которыми он виноват. Там его не ждет ни Божья награда, ни Божье наказание, хоть Церковь и долбила ему эту чепуху.

Кара настигла доктора в коридоре со скоростью шагов главврача, направлявшегося в аудиторию. Поскольку убежденный сединой профессор в последнее время все чаще становился свидетелем подобных еретических разговоров и среди студентов, в доказательство ювелирной работы Бога он решил слегка откорректировать свое описание хитроумнейшего устройства человеческой кисти.

Уже много лет в этом месте лекции по анатомии человека профессор просил студентов представить себе, как во время прогулки по полю они нашли часы. Сразу же станет понятно – какие могут быть сомнения, – что данный объект сконструирован при помощи ума. Даже если бы мы ничего не знали о часовщике, логика подвела бы нас к выводу: некий конструктор аккуратно собрал все колесики часового механизма. «Разве не очевидно, господа, что человек, его до последних мелочей продуманная организация – вспомните хотя бы двадцать семь косточек и тридцать три мышцы кистей рук, позволяющие нам выполнять самую мелкую работу... – Профессор от удовольствия прищелкивал пальцами. – ... Что человек тоже является созданием часовщика?»

Тут он обычно делал небольшую паузу, отрывался от записей и смотрел студентам в глаза: «Прошу вас, господа, применить метод дедукции, который мы так часто использовали в последние месяцы, и к данному вопросу». Его маленькие зеленые глаза блестели от восторга, ибо он считал это доказательство бытия Божьего элегантным и бесспорным.

Однако, невзирая ни на какие аргументы, тесная сцепка клира и науки дала трещину. Прошли времена, когда все профессора Оксфорда и Кембриджа были священниками: зоологи,

химики, анатомы, геологи. Все чаще на кафедру всходили ученые, предпочитавшие отделять материальное от метафизического.

Беккету тоже больше нравилось объяснять тонкое устройство человеческой кисти и происхождение видов теорией Чарльза Дарвина, чем неким часовщиком. Книга с таким названием вышла за пару дней до его двадцатого дня рождения – 24 ноября 1859 года, – и он принадлежал к читателям первого издания, которое расхватили за неделю.

Когда студент-медик, долгие годы прислуживавший в Вестминстерском аббатстве, понял процесс эволюции, происходящее в природе так его возбудило, что он целыми днями ходил по улицам, ощущая себя жвачным животным, снова и снова переваривающим съеденное.

Первые месяцы после своего бесславного увольнения из клиники доктор Беккет каждое утро ходил в библиотеку. Он читал «Органон врачебного искусства» Самуэля Ганемана и экспериментировал с гомеопатическими шариками. Читал знаменитое эссе Канта «Что такое Просвещение», поскольку являлся адептом Просвещения и ничего так не желал, как выхода человека из состояния несовершеннолетия. Канта он скоро оставил. Ему не хватило терпения. Он с удовольствием читал сочинения по атеизму и нашел восхитительным высказывание: «Если бы у лошадей были боги, они имели бы вид лошадей»¹. Беккет очень любил цитировать эту фразу, она лучше других формулировала его отношение к неземному миру. Он прочел и пару десятков страниц Маркса, поскольку его ужаснуло состояние больного из бедного лондонского квартала. Но читать Маркса оказалось еще хуже, чем Канта.

Вскоре после увольнения из больницы Беккет случайно оказался вовлечен в разговор соседей; речь шла о тяжело заболевшем профессоре геологии неподалеку. Договорились о визите к нему доктора Беккета, и больной поразительно быстро, хоть и кряхтя, поднялся с постели. Новости распространились со скоростью света.

Профессор стал первым, к кому Беккет применил свой метод при наличии душевно-телесных, как он говорил, проблем. Из-за беспокойств о сыне старик явно укладывался в тип «мнимого больного». Поскольку пациент жаловался на подреберную боль справа и слева, доктор несколько раз простучал эти места и не обнаружил никаких патологий. Беккет догадался, что симптомы тем не менее необходимо принять всерьез, и прописал умеренную дозу порошков и шариков, а в дополнение – разговоры.

У постели измученного профессора геологии ему стало ясно: врача и пациента должен объединять союз, а не просто диагноз. И еще он понял: иногда имеет смысл назвать болезнь, даже если ее нет. В начале практики Беккету не удалось избежать некоторых ошибок. Случалось, дама хорошего общества приходила в ужас, когда, подойдя ближе к постели, доктор делал комплимент ее здоровому виду, но с облегчением вздыхала, когда он вскоре добавлял: а вот язык обложен. Он научился и тому, что вместо истинного диагноза – слишком плотные ужины – лучше многозначительно говорить: аппендицит.

Деньги состоятельных пациентов, которым непременно нужно было болеть чем-то приличным, он тратил на лекарства и визиты в бедные кварталы.

Поскольку у стремительно выздоровевшего профессора геологии имелся большой круг друзей, в частности именитых ученых, вести о невероятно талантливом, хоть и молодом докторе разнеслись быстро.

В то время Беккет начал задаваться вопросом: почему человек вообще заболел, и все чаще осмеливался прямо заговаривать об этом с пациентами: «Почему именно сейчас? Что вы сами думаете?» И чаще, чем он мог ожидать, они открывали ему свое сердце.

Когда доктор Беккет впервые открыл дверцу коляски перед Даун-хаусом, Дарвин как раз выбирался из вольера с ведром краски в руках. Он бился над проблемой красоты, которая

¹ У Ксенофана: «Если бы быки, лошади и львы имели руки и могли бы ими рисовать и создавать произведения [искусства] подобно людям, то лошади изображали бы богов похожими на лошадей...» (Прим. переводчика.)

никак не хотела решаться грубой борьбой за жизнь. Как можно отнести к самым ловким оленей с восхитительными, но тяжелыми рогами или самцов павлина с роскошным, но неудобным хвостом? Чтобы приблизиться к разгадке тайны, Чарльз решил самовольно вмешаться в павлиньи дела: Эммиными ножницами выстриг одной птице глазки на оперении и смотрел, как над красавцем издеваются дамы. В попытке выяснить, больше ли самкам нравятся пестрые самцы, чем серые или белые, пририсовал голубям красные кружки, но главным результатом стал лишь возмущенный гомон. Подобными опытами Дарвин поверг нового доктора в такое же изумление, как и птиц-шалашников, предложив им экстравагантный материал для устройства гнезд.

Ученого мучил вопрос, полезна ли красота. И как скромно одетая в глухие коричневые тона самка павлина может быть так же хорошо приспособлена к окружающей среде, как и сверкающий великолепными красками самец.

Доктор Беккет, разумеется, не мог ответить на эти вопросы. Но Дарвин радовался интересу, с каким его слушал новый врач, чего нельзя было сказать о прежнем. Конечно, решение проблемы связано с продолжением рода, предполагал он, и, судя по всему, с выбором дамы. Если так, нужно доказать, что самка оценит любое мельчайшее изменение в оперении самца, например более длинные кроющие перья, и предпочтет одного поклонника, другому указав на дверь. Правда, Чарльз не всегда разделял мнение самок. Довольно часто он удивлялся, почему шуршание и дрожание именно этого хвоста нравится самке и она ложится, как курица, позволяя себя оплодотворить. Как-то вечером за ужином Чарльз сообщил: в его вольерах красота тоже в глазах смотрящего. И, улыбнувшись, посмотрел на Эмму.

В те дни 1870 года украшательство превратило Дарвина в вуайериста и все-таки не нашло точного места в теории эволюции, даже привело к ночным кошмарам, где фазаны при полном параде, зазывно крича, выставляли блестящую гузку и роскошные перья.

Доктору Беккету понадобилось несколько недель и десяток визитов, чтобы осознать весь масштаб экспериментов. Как-то раз ему даже пришлось покумекать над математической формулой, которая никак не хотела выходить у Дарвина. Беккет нашел арифметическую ошибку. Вместе они увязали размеры рогов оленей в брачный период с шансом стать альфа-самцом – один охотник прислал цифры, – и наконец-то было доказано то, что доказать было необходимо: природа умеет манить, причем любовь и вожделение оставляют заметные следы в облике многих видов.

Через одиннадцать лет после выхода книги о видах дошло и до этого. Дарвин был вынужден поставить рядом с естественным отбором вторую движущую силу эволюции – половую. Затея, порадовавшая доктора Беккета, огорчила Эмму и разозлила епископов: ведь всем известно, что живые создания украшает Бог.

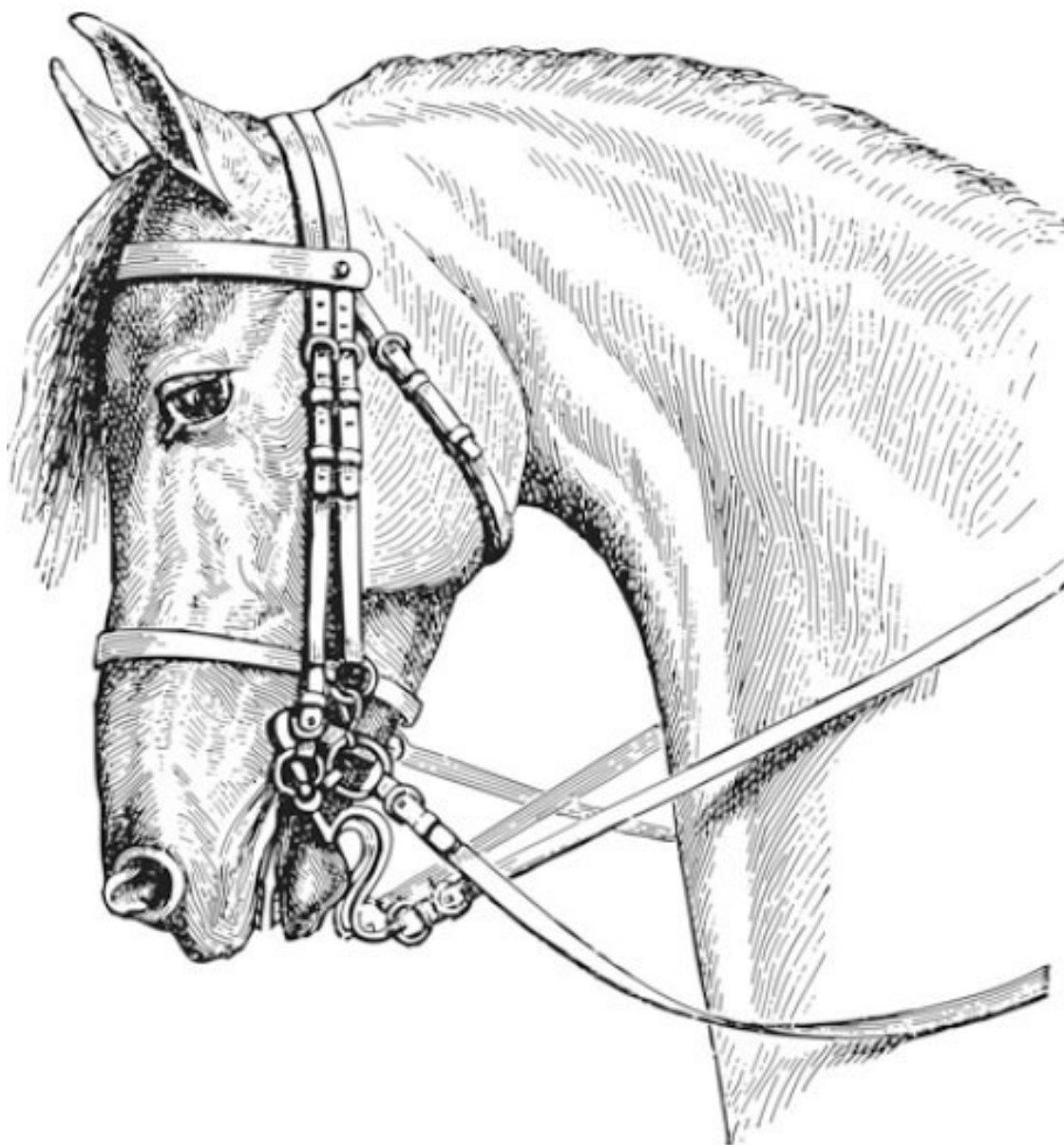
Беккет гордился правом присутствовать при том, как исследователь силится выжать у природы ее законы. Однажды – доктор только открыл чемодан – Дарвин признался ему: он наконец-то примирился с развитием своей теории. Хоть дополнительный половой механизм селекции и усложняет ее прежнюю стройность, надо признать, что тем самым в холодную и жесткую борьбу за выживание в природу входит нечто теплое и красивое, необязательное, таинственное – да, роскошь.

Но 5 октября 1870 года, когда перед ним впервые стоял доктор Беккет, Дарвин как раз закрыл ведро с краской. Растерянному врачу он представился как «даунская дохлятина», характеристика, показавшаяся ему уместной, после того как он вчера записал для нового врача свои недуги.

В записке, переданной Беккету, значилось: «Возраст – 61. Уже 30 лет днем и ночью – сильные спазматические вспучивания. Частая рвота, иногда длящаяся месяцами. Рвоте предшествуют озноб, истерические слезы, ощущение смерти или полубомороки, далее – обильная,

очень бледная моча. В настоящее время перед каждой рвотой и каждым выходом газов шум в ушах, головокружение, нарушения зрения и черные точки перед глазами. Свежий воздух меня утомляет, он особенно опасен, вызывает симптомы в голове; состояние беспокойства при расставании с женой. Сейчас мучит ощущение, что в течение дня печень неоднократно перемещается справа налево. Правда, до сих пор она возвращалась обратно. Случается, из-за заложенного носа появляется раздражение желудка. Вероятно, в результате избыточного глотания воздуха. Не умолчу: фурункулы и другие высыпания на коже».

Плачущая лошадь



В сияющий первый день октября 1881 года Полли около полудня опять улеглась на полу, перегородив порог. Никто, и уж тем более он, не мог выйти из дома, не споткнувшись о ее светлое, хотелось даже сказать курчавое, тело. Во всяком случае, если этот кто-то хотел пройти через главный вход.

Разумеется, Чарльз именно так и поступит. Разумеется, в двенадцать он, как всегда, выйдет из гостиной, набросит накидку, обмотается шалью, чтобы по возможности избежать простуды, и удивится, увидев лежащую в дверях Полли.

Как всегда, голова ее лежала на левой лапе чуть набок, совсем чуть-чуть, что придавало морде нежность и даже соблазнительность, а вишневым глазам, направленным вверх на высокого хозяина, – максимальную выразительность. Противостоять этим глазам не было никакой возможности. Да Чарльз и не пытался. Как и каждый полдень, он споткнется об нее, изобра-

зит страшное удивление, на что Полли со всей силы, как только позволят легкие фокстерьера, радостно взвизгнет. Затем вскочит и от счастья начнет на него прыгать.

Постаревшая вместе с Чарльзом мадам теперь иногда не дотягивалась своей короткой бородой до его длинной, как они здоровались много лет. Поскольку семидесятидвухлетнему Чарльзу было уже трудно нагибаться, а Полли – высоко подпрыгивать, оба, когда получалось, испытывали удовольствие, к которому сначала незаметно, а потом от раза к разу все больше примешивалось облегчение, что еще раз удалось коснуться бородами.

Как всегда, приветливые глаза Полли вырвали у Чарльза рефлекторное объяснение в любви, и он, не раскрывая рта, тепло, низко помычал. Тоже слегка склонив голову набок. Потом взял трость и вышел к осеннему сверкающему солнцу. Собака тут же взяла на себя роль проводника, обернулась, словно убеждаясь, что хозяин идет следом, и побежала.

Трость постукивала о камни, и Чарльз выпрямился, как велел ему доктор Беккет: «Во время оздоровительных прогулок не забывайте вытягиваться и расправлять грудную клетку. Трижды в день – ходить прямо, широкими шагами и как следует дышать!»

Чарльз вбирал в себя октябрьское солнце и осенний воздух, пахнувший первыми умирающими листьями, напáдавшими на большую лужайку перед домом, а Полли, как и полагается жизнерадостной собаке, держала хвост торчком, о чем писал Чарльз в своей книге о выражении эмоций у человека и животных: «Когда собака всем довольна и бежит впереди хозяина крупной эластичной рысью, она обыкновенно держит хвост кверху, хотя совсем не так напряженно, как в гневе».

Разумеется, Чарльза интересовали и хвосты коров и лошадей. Во время прогулок он любил смотреть, как соседские коровы скачут от удовольствия и смешно закидывают хвосты.

Чарльз, с гордостью глядя на свою Полли, на ее поседевший и облезший с возрастом хвост, вспомнил Томми. Он часто наблюдал, как, переходя на галоп, конь опускал хвост, чтобы снизить сопротивление воздуху.

– Ах, Томми! Мне так тебя не хватает. Старый проказник... – Трость постукивала, а Чарльз, как частенько в последнее время, говорил сам с собой. – Хоть Эмма и не захотела признать, тогда у тебя в глазах стояли слезы.

Полли что-то услышала, обернулась и, увидев, что хозяин, погруженный в мысли, смотрит прямо перед собой, засемила дальше.

Томми, его последняя верховая лошадь... Однажды, уже старый, он споткнулся, упал и перекатился по Чарльзу. Верный конь, казалось, был безутешен, может, даже слышал хруст и треск ребер в груди у Чарльза. Тот лежал в траве и стонал, а Томми тыкался носом ему в бедро, словно желая сказать: «Вставай! Ты можешь ходить. Покажи мне». Но Чарльз не мог. Его пришлось нести в дом, и он видел, как Томми, опутив голову, стоял на лужайке и плакал. Когда выяснилось, что любимого не разбил паралич, Эмма не могла найти слов для выражения радости, однако тут же вышла из себя, услышав, как он опять приписывает животным человеческие чувства.

– Ах, Эмма! Ты просто не хочешь согласиться с тем, что мы все родственники.

Трость застучала сильнее. Чарльз с силой упирал ее в каменистую землю.

– Да, и с тобой, моя дорогая Полли.

Собака повернула голову и тихо гавкнула.

Довольно долго они молча шли друг за другом. Потом Полли затыкала, спугнув бойкую синицу, что-то клевавшую между камешками щебня на дорожке. Птице надо объяснить, решила собака, что тут имеет право ходить только она одна. Синица перепорхнула на яблоню и уселась на нижнюю ветку. Да отстань ты от меня со своим правом. Синичий щебет заявил в ответ, что старой тьякальщице ее не достать даже на такой небольшой высоте. Поводя черной головой, она выпевала свои куплеты, теряющиеся в теплых лучах осеннего солнца.

Вдруг синица размазалась. Семенова Полли тоже, хвост ее странным образом раздробился. Чарльз остановился, обхватив набалдашник трости.

Опять головокружение. Он закрыл глаза, чтобы избавиться от навязчивых искаженных картинок, и, осознанно дыша, попытался унять волнение. Раз, два, три. Он просчитал вперед, потом обратно.

Считать, складывать, вычитать – простая или, в зависимости от состояния, сложная арифметика служила ему терапией уже много лет. И когда сознание грозило померкнуть, не раз помогала.

Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Вернулась Полли, ласково потыкалась в колено. Сердце билось безо всякого ритма. И слишком сильно. Чарльз чувствовал, как стучит в горле. Двадцать три. Двадцать четыре. На двадцати семи до него дошло, что он самым жалким образом скрючился над тростью. Осторожно попытался немного распрямиться. Расправить грудную клетку. Сердцу требовалось больше места. Но грудь сопротивлялась всем попыткам, в ней по-прежнему было тесно. В голове прозвучало: «Ходить прямо, широкими шагами и как следует дышать!»

На сорока двух Чарльз открыл глаза: животные и растения в саду вернули себе четкие очертания. А хвост Полли – обычную, полагающуюся фокстерьеру форму. Осталось только небольшое недомогание.

Гуляющие снова двинулись вперед, но Полли уже не хотелось бежать впереди. Замедлившись, она тащилась около хозяина и часто поднимала к нему голову.

– Ах, Полли, – сказал Чарльз, – ты идешь у ноги. А ведь совсем этого не любишь. Ты моя дорогая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.